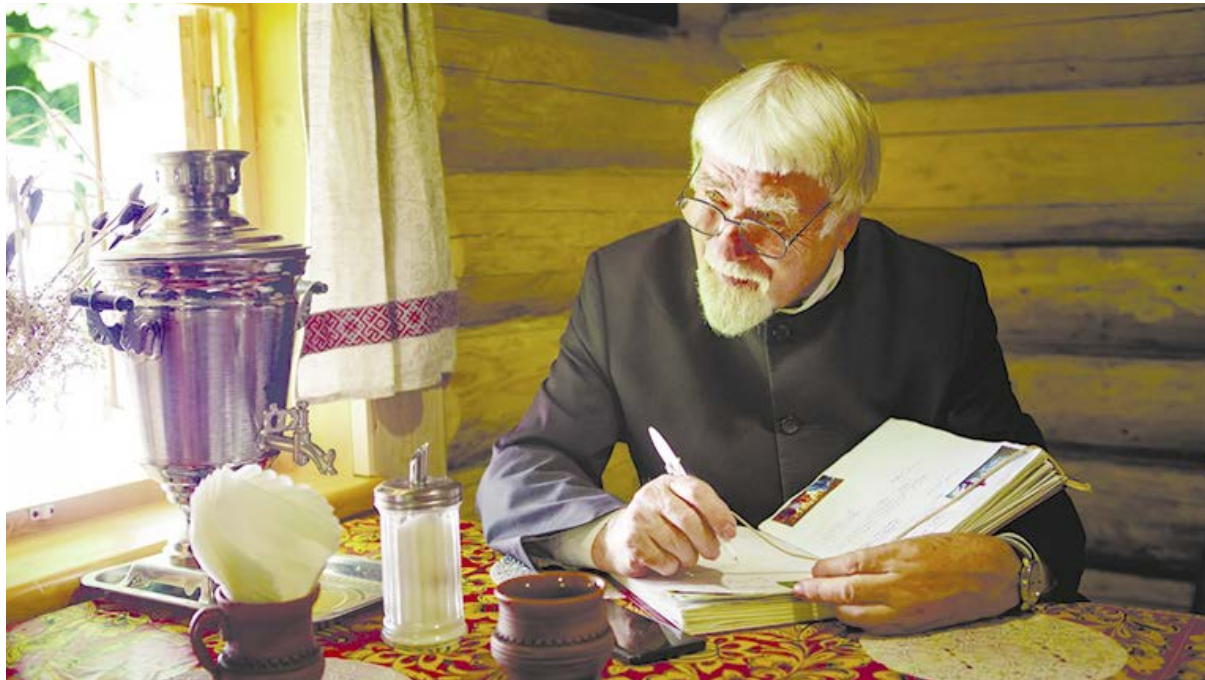




Приложение к № 56 газеты «Великолукская правда»

Валентин Курбатов: «Давайте говорить о вечности»



Валентин Курбатов (29 сентября 1939 г. – 6 марта 2021 г.)

6 марта 2021 года из земной жизни ушел один из великих думателей и болезнователей о России, один из лучших современных русских писателей – Валентин Яковлевич Курбатов. Рассказывают, что в день Вселенской Родительской субботы он помолился в храме, причастился Святых Христовых Таин, вышел из храма, зашел в лавку, купил жене цветы, упал и в одночасье скончался.

Сказано точно: «Русская литература потеряла кормчего» (Л. Вигандт). Добавлю: и русская культура в целом. Я же, как и многие, потерял и старшего товарища.

Получив скорбную весть, я сразу вспомнил одно фото, сделанное мной 8 июня 2014 г. в самом древнем храме Пскова – Рождества Иоанна Крестителя, который впервые упоминается в летописях под 1243-м годом как уже существующий, а возведен был на сто лет раньше. На современной фреске седовласый человек – это Курбатов, он много лет был причастен к восстановлению и работе храма.

Цитирую письмо В. Курбатова ко мне от 4.02.2016 г.

«...Эх, жалко – пропустил Ваши старые сочинения про наши Псковские святые. Даже, вон, оказывается, про храм Иоанна Предтечи писали. Я отдал ему 18 лет. Отнимал его у Советской власти, вывозил горы мусора, хоронил черепа расстрелянных (и наши, и «ихние») любил расстреливать в храмах – стены толстые, тихо – «никого не беспокоят», писал эпитафию на кресте в приделе с молитвой о жертвах иноземного и отечественного насилия – (немцы расстреливали большевиков, большевики до этого – матушек этого монастыря), читал там шестопсалмие и Апостол, даже умствовал по благословиению после того, как походил дорогами апостола Павла и знал, какое солнце пекло ему лысину в Галатии, какие камешки кололи ступни в Пиерии.

... Я это, я на фреске, хотя начал совсем не седым. Да и фреска-то эта из самых поздних – когда до притвора дело дошло. А черненький рядом со мной Костя Обозный – спаситель памяти Псковской миссии, «сменщик» мой в Апостоле и шестопсалмие. И «девчонки» наши – из певчих».

Седовласым, читай умудренным, Валентин Яковлевич останется для многих из нас – не только на фреске, но и на фото, и в на-

шей благодарной памяти. Памятна и его чуть смущенная улыбка, борода клинышком, ровно подстриженная челка, неизменный теплом светящиеся глаза с доброй лукавинкой, неповторимый голос, будто слегка треснувший, особая интонация, словно с подпевом.

СЛУШАТЬ ЕГО БЛЕСТЯЩОЮ РЕЧЬ МОЖНО БЫЛО БЕСКОНЕЧНО, КАК ОТРАДУ И НАСЛАЖДЕНИЕ

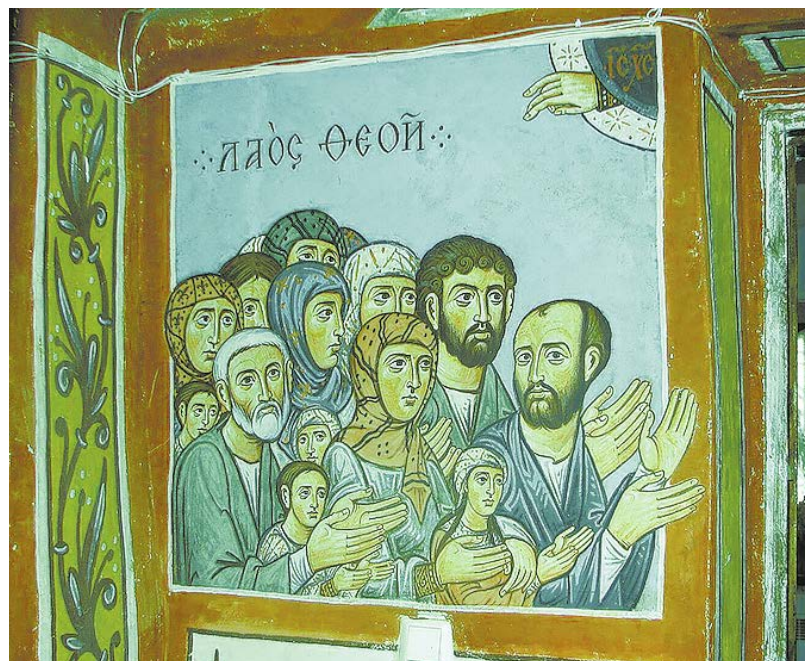
Курбатов был величайшим русским златоустом – и в своих писаниях, и изустно. Слушать его блестящую речь можно было бесконечно, как отраду и наслаждение. Он соглашался, что его называли критиком:

«Как все критики, я не доверял слову, рожденному одним чувством, одной интуицией, и потому не был поэтом. Как все критики, я не доверял чистой мысли, жалея приносить ей в жертву сопротивляющееся сердце, и потому не

был философом. Как все критики, я торопился договорить предложения до точки, не оставляя ничего на догадку и сердечное сотворчество читателей, и потому не был прозаиком...».

Он всегда радел и писал, и в последние годы, о русской культуре – о своих друзьях Валентине Распутине и Савве Ямшикове, Георгии Свиридове и Валерии Гаврилине... Вот некоторые его книги:

- «Виктор Астафьев: Литературный портрет»;
- «Михаил Пришвин: Жизнеописание идеи»;
- «Домовой». Семен Степанович Гейченко: письма и разговоры»;
- «Юрий Селиверстов: судьба мысли и мысль судьбы»;
- «Перед вечером, или Жизнь на полях»;
- «Крест бесконечный»;
- «Батюшки мои»;
- «Наше Небесное отечество»;
- «Уходящие острова»;
- «Нежданно-негаданно»;



Фреска с Валентином Курбатовым

• «Пушкин на каждый день». Во время поминок отец Евгений сказал, опираясь на известные слова о. Александра Меня, о том, что Валентин Яковлевич любил всех, кто общался с ним, не одинаково, но каждого больше. Многие вспомнили, что примерно за полгода до кончины В. Курбатова начал потихоньку, но как-то настойчиво со всеми прощаться. В частности, настаивал, чтобы какие-то встречи, поездки состоялись, «а то вдруг больше не увидимся».

ИЗ ДНЕВНИКОВ В. КУРБАТОВА

«Как быстро прошла жизнь! Но разве она прошла, если успела стать словом? Оно было не бог весть каким, не целилось далеко, не искало славы, а только вглядывалось в чудо жизни и благодарило ее за свет и порой корило за тьму. И теперь я неожиданно думаю, что Господне Слово, которое было у Бога и было Бог, начинавшее мир, было семенем, из которого зашумела вся человеческая земная речь, и Слово это длится и животворит жизнь, делая ее вечным сегодня, так что и мы благодаря свету Слова бессмертны в нем вчера и всегда!»

«Господь создавал мир со всеми чудесами. В порыве творческого вдохновения – тут тебе и горы и моря, и солнце и луна, и деревья и травы, кузнечики и со-

«Новый Завет – не книга для чтения. Это – кровообращение и мера духовного устройства. Это навсегда. Просто с годами чувство может притупиться, а при лени механизироваться – привычка к обряду и литургии по воскресеньям часто ослабляет связь с Книгой. Привычка, увы, часто окзывается сестрой равнодушия».

ДАЙ БЫ БОГ, ЧТОБЫ В СЛУЧАЕ БЕДЫ РАЗОМ ВСПОМНИТЬ И РОДНЫХ «ЕРМАКА» И «УТЕС», И ИСАКОВСКОГО С МАТУСОВСКИМ

«А чего еще записать-то хотел? А про неодолимость русской песни. Что еще не только с русским человеком предстоит воевать неприязненному к нам миру, а и с нашей песней, которая сегодня, к сожалению, посильнее нас. Поменяв ее на песенки Лепса, мы, может, к Европе-то и подвинулись, а от себя отошли. И последним народным композитором, кажется, осталась Пахмутова, а уж «Вставай, страна огромная» написать некому. Сузили мы страну в своем сознании. Дай бы Бог, чтобы генетика еще была жива, чтобы в случае беды разом вспомнить и родных «Ермака» и «Утес», и Исаковского с Матусовским, русских (без кавычек) Покрасса и Дунаевского. Народ в себе вспомнить. И уж коли запоём, то тут уж «янки дудль» и «Гитлер капут!».



Псковский кремль. Фото Т. Сургановой. 10.03.2021 г.

ловьи. И однажды, конечно, захотелось кому-то показать, обрадовать. И Господь создал Адама и определил ему удивительное задание – назвать все созданное, дать ему имя. А дурак дьявол из ревности, что не ему выпало это счастье, взял и искусил бедного Адама: чего, мол, только называть-то? Сам стань богом и твори!

А не называй. А уж как откусил от яблочка с Древа Познания – тут уж любовь и называние побочку. Тут уж все развить и посмотреть, как сделано. Чем уж вовсю будет заниматься сынок Каин. И мир еще назван не весь, а уж матушка-цивилизация пошла расщеплять его и делать из человека бога, и бедный Адам уже позабыл, что это он от стыда одевался в «смоковое листвие», и успел сделать из листвия моду, одеваясь в дома, машины, парламенты, революции и войны. И все удалялся и удалялся от первообраза».

«Может, потому мы не слышим и другого человека, что каждый из нас двоих внутри нас слушает каждого другого в другом – из раза в раз не попадая. Все время «странный гражданин» (как зовет дьявола «Постная триодь») меняет карты и подсовывает нам не то отражение. Как бывает трудно даже с самыми близкими, словно даже и веселый разговор ведется в испорченный телефон, в вечную готовность услышать обидный для себя смысл, даже если другой говорит со всей строгостью. Мир вечных параллельных с редкими пересечениями. В этом все революции, войны, оппозиции, ООНы. А только и надо – сказать «Я» без лжи перед собой, как перед Богом. Ведь как просто и как невыполнимо!»

Станислав МИНАКОВ
18 марта 2021 г.

(Печатается в сокращении)

«Нас разбудит колокольный звон»



Валентин Курбатов

ДО ШЕСТИ ЛЕТ ЖИЛ В ЗЕМЛЯНКЕ

– Валентин Яковлевич, а у вас в детстве была своя Арина Родионовна?

– Моей Ариной Родионовной была мама, Василиса Петровна, удивительный, светлый человек. Она закончила всего два класса, две группы, как тогда называлось, в деревне. Но при этом писала стихи, очень смешные и трогательные. Наверное, мне Господь отдал остаток того дара, которым щедро наделил маму. Я занимаюсь тем, чем должна была заниматься она. Получи она вовремя образование, она могла бы стать и литератором, и художником, и музыкантом.

Мы жили тогда в Ульяновской области. Дедушку, Петра Воиновича, раскулачили. У него было 11 детей, и все они работали на себя, на свою семью, жили в тесноте, большинство детей спали на полу. Из деревни его не выселили (совесть все-таки осталась), но дом отобрали, и дедушка переселился в погреб на дворе, где летом хранят продукты – так называемый ледник. Сделал глубже, прорубил окошко, поставил печку и прожил там до своей кончины. Раскулачили его в 1928 году, а умер он в 1962. И я до шести лет жил с ним, с мамой и с братом в этой землянке.

Мама работала путевым обходчиком, а в Чусовом, куда мы переехали после войны, – мотористом на водокатке. Работала она всегда на износ – дадут работу на неделю, а она норовит сделать ее за день. Ее водокатка не раз получала переходящее красное знамя. Первый раз мама не слеза его через весь город из горисполкома на водокатку. Оно же переходящее, вот она и прошла всю главную улицу, держа над собой тяжелое знамя.

– Почему вы переехали в Чусовой?

– Там работал отец. Когда началась война, его по состоянию здоровья не взяли на фронт, а мобилизовали в трудовую армию и направили в город Чусовой Молотовской области (теперь Пермский край) строить металлургический завод. После войны мы поехали к нему. Жил он в бараке, в так называемом «Доме холостых» в шестиметровой комнате, где также жили хозяйка с хозяйкой, а когда приехали мы с мамой и братом, то мы первое время жили в этой комнатенке вшестером – как это было возможно, сейчас мне не хватает воображения представить.

Отец был совсем неграмотным, мама со своими двумя группами сельской школы читала, но не очень бойко. Первые книжки в доме появились, когда я пошел в школу, и, по-моему, вся книжная полка состояла из учебников – не на что было купить что-то еще. У одного моего товарища родители выписывали журнал «Огонек», у другого – «Крокодил», и я так гордился, что знаком с двумя интеллигентными людьми в городе – такие журналы у них дома есть!

ХОТЕЛ В АРТИСТЫ, А ПОПАЛ В МАТРОСЫ

– А когда вы почувствовали любовь к чтению, желание читать не только по программе, но проводить за книгой все свободное время?

– Даже не знаю, как это случи-

Валентин Курбатов родился в 1939 году в поселке Старый Салаван Ульяновской области. После войны семья переехала на Урал. Окончил школу в 1957 году, работал столяром, служил на Северном флоте. С 1964 года живет в Пскове. Работал в молодежной газете, в 1972 году окончил киноведческий факультет ВГИКа. В 1978 году принят в Союз писателей СССР. Лауреат премии им. Л.Н. Толстого, Горьковской (2009) и Новой Пушкинской (2010) премий.

лось. Видимо, наш брат бессознательно чувствует, что отстает от какого-то «уровня» и норовит догнать. Это желание быть поумнее себя привело меня в драматический кружок. И там уж было нелегко отставать. Горького прочитал в школьной библиотеке томов 15, Тургенева – всего. С тех пор боюсь перечитывать «Клару Милч» – огромное впечатление эта повесть произвела на меня. Как и «Мальва» Горького. Сюжет уже позабыл, но помню, что сердце разрывалось от восторга.

Еще я был диктором нашего школьного радио, писал заметки в школьную газету, а потом мы и журнал свой создали. Тогда в школах часто делались рукописные журналы! Но намеревался я быть не литератором, а артистом. Драмкружок и школьное радио укрепили меня в этом желании. Так бы сразу и кинулся поступать в 1957 по окончании школы, но тогда как раз Никита Сергеевич запретил принимать в вузы прямо со школьной скамьи – пусть, мол, поработает выпускник год-другой на производстве, поймет, чего хочет. И я два года работал столяром в тресте, и сейчас у меня в военном билете в графе «гражданская специальность» написано через дефис: «столяр-киновед-редактор». Мало у кого найдете такую запись!

Ну, а в 1959 году я поступал во ВГИК. На актерский факультет, на курс, который тогда набирали Сергей Аполлинариевич Герасимов и Тамара Фёдоровна Макарова. Читал я, конечно, Горького – «Песню о Буревестнике». Куда тогда без пафоса? Читал громко, решительно, а Сергей Аполлинариевич кривится: «Разорался тут про какую-то птицу! Встань там, у косяка, избобщи, что ты видишь всё это: море, птицу летящую. Притворись!». Я «притворился», всё получилось. Потом спел, сплясал матросский танец, и мне предложили прийти сразу на третий тур. Это на меня произвело такое ошеломляющее впечатление, что я смутился, забрал документы и больше на экзамены не пошел.

Отправился на биржу актеров – была тогда такая в Бауманском саду. На скамеечках сидели режиссеры, а мимо ходили актеры, небрежно помахивая фотографиями, где они были сняты в роли Гамлета, Ромео, короля Лира. А у меня не было ничего, кроме порывистости и ослепительной синевы пиджака, который я взял напрокат у товарища в институтском общежитии. Однако и меня пригласили на просмотр – режиссер Купецкий из театра Балтийского флота отвел меня в сторону и спросил: «Что можешь?». Я прочитал басню. И готов был и сплясать, но ему было довольно: «Ну всё, пока возьмем на выход».



Счастливым я лечу домой, в Чусовой, доложить руководителю нашего драмкружка Кларе Афиногеновне Мартинелли, что начну «на выходах», а потом как

пойдет карьера... Но дома меня ждала повестка из военкомата – не артисты нужны были флоту, а радиотелеграфисты! Четыре с половиной года прослужил я на Северном флоте.

– В начале восьмидесятых про Северный флот говорили: «Там, где начинается Север, кончается устав». Годковщина на всем флоте тогда была более жестокой, чем дедовщина в армии, но особенно на Северном.

– К счастью, когда я служил, этого совсем не было. Над молодыми матросами подтрунивали, разыгрывали их, но по-доброму. Старослужащие и тогда назывались годками, но ни разу я не видел, чтобы кто-то унижал молодого матроса. Тогда еще дорожили флотскими традициями, гордились, что не где-нибудь служат, а на флоте. Попробуй назови матроса солдатом – сразу схлопочешь.

На флоте у нас тоже драмкружок образовался. Служил я на крейсере. Первые два года радиотелеграфистом, потом наборщиком – выписывали мы корабельную газету. Набирали тогда вручную по буквке, как в начале века ленинскую «Искру»! О полете Гагарина я услышал как раз в типографии – радио включено было. Бросил верстатку, буквы разлетелись свиновым дождем, в восторге вылетел на палубу, а там уж все, кто свободен от вахты. Хотелось куда-то бежать, лететь, да куда побежишь – море вокруг, корабль шел на Новую землю. Незабываемое ощущение праздника, счастья. Может быть, одно из самых сильных за всю мою жизнь.

Рассказы о сегодняшней армии приводят меня в смятение. Слушаю и думаю: что же случилось с государством, с людьми?

ДО ЛЬВОВА ТАК И НЕ ДОЕХАЛ

– Что привело вас после службы в прекрасный город Псков, где вы живете уже почти полвека?

– Последний год на флоте я был библиотекарем – сам формировал корабельную библиотеку, собирал книжки одну другой умнее. Пафоса поубавилось, пришло «разочарование». Мы ведь все со школьной скамьи немного Печорины – равнодушные к миру, скрещенные на груди руки, холодный взгляд. А тут и экзистенциализм в моду вошел. В Мурманске был маленький книжный магазин, а в нем иностранный отдел – порт ведь международный. Поляки одни из первых все перевели, и я выучил польский язык, чтобы читать Сартра и Камю. И после демобилизации, грешный человек, утащил домой «Критику буржуазных течений» Георга Менде и «Экзистенциализм и проблемы культуры» Пиамы Павловны Гайденко.

Выписывали мы на корабле журнал «Молодая гвардия» – молодые искали молодого журнала. Там постоянно печатался Владимир Николаевич Турбин – профессор МГУ, умница, эрудит. Его раздел так и назывался: «Комментирует Владимир Турбин» и был посвящен искусству, архитектуре, кинематографу – Владимир Николаевич знал всё и глядел за всеми искусствами сразу. Я написал ему письмо, мы стали переписываться, и он пригласил меня к себе на факультет.

После демобилизации я приехал прямо к нему, ночевал у него на Каланчевке, на продавленном

диванчике. В первый же день он дал мне почитать книжку П.Н. Медведева «Формальный метод в литературоведении» (потом я узнаю, что написал ее Михаил Михайлович Бахтин). Книга была такой ослепительной красоты, такой глубины, что я понял: мне никогда не податься до такой красоты мысли. И с каким тогда лицом при своем жалком знании и домашнем экзистенциализме я припрусь в Московский университет? В ту же ночь я сбежал с продавленного дивана и поехал в Петербург, тогда Ленинград. А оттуда во Львов – посмотреть хорошее барокко. Должен ведь старший матрос запаса знать, как выглядит настоящее барокко, высокие образцы! А они только во Львове.

Поехал, а в пути, в Пскове, поезд сломался, и объявили, что он там простоят часа четыре. Пойду, думаю, город пока посмотрю. Город понравился, я вспомнил, что у моего флотского товарища бабушка в Пскове живет, нашел ее и остался тут. На всю жизнь! Во Львове так и не был, до сих пор не знаю, как выглядят высокие львовские образцы. И не жалею об этом, потому что здесь вернулся в Церковь... В детстве меня родители водили в храм, даже первые детские воспоминания связаны с Рождественской службой – засыпаю от усталости, падаю, бухаюсь лбом об пол и просыпаюсь православным человеком.



Но потом был большой перерыв. Крестик всегда носил, но не на груди, чтоб не дразнить никого, а зашитый в карманчике. И в школе, и на флоте. В церковь иногда заглядывал, но больше из любопытства. А в Пскове естественным образом вернулся. Ты же начитанный человек, пишешь статьи о живописи, о театре, в Москве печатаешься – естественно, хочешь и о Церкви узнать больше, глубже понять ее значение в истории и культуре.

У нас здесь был владыка Иоанн (Разумов), в прошлом келейник Сергея (Страгородского). На Пасху он всегда служил в кафедральном соборе. Стою на первой после флота пасхальной службе. По окончании народ, как положено, идет к кресту, я тоже. А владыка меня обносит, прямо через мою голову дает крест следующей бабушке, словно меня и нет. Креста не дал. Ужас! На службу уже страшно идти. Но хожу, думаю...

На следующий год опять стою на Пасху в Троицком соборе, опять служит владыка Иоанн, и служит замечательно. После службы я уже на деревянных от страха ногах иду к кресту. Владыка внимательно смотрит: «Как зовут?». Я сказал, а он мне подает большущую служебную просфору: «На! И смотри у меня!».

Что, думаю, я «наслужил» такое на флоте, что надо было меня целый год удерживать от креста, зато потом жаловать просфорой «с митрополичьего плеча»? Понять-то не понял, но что-то услышал, и с тех пор уже не выхожу из храма. Даже когда работал в газете «Молодой ленинец», пел в церковном хоре. Сейчас на всеночной читаю Шестопсалмие, а на литургии – Апостол.

ЧТО СО СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ СДЕЛАЛ?

– В итоге вы все-таки закончили ВГИК, из которого сбежали в юности.

– Ну, надо же было какое-то образование получить. В газете работаю – как без образования? Решил, раз пытался, попробовал еще раз в тот же ВГИК, но уже на киноведческий факультет. Поступил на заочный, закончил, рабо-

таю давно, оставил молодежную газету, в писательском Союзе состою, и тут мне заказывают книжку о Сергее Аполлинариевиче Герасимове. Вот, думаю, матушка-жизнь любит досматривать свои сюжеты – к Герасимову возвращаюсь. Челябинское издательство заказывает – он оттуда родом. Бегу к Тамаре Фёдоровне Макаровой, не хватить ли, думаю, «Песней о буревестнике» по старой памяти? Жила она в высотке, где гостиница «Украина».

Договорились, прихожу, встречает Тамара Фёдоровна, за ней в прихожей фотография в полный рост, где Сергей Аполлинариевич в роли Льва Толстого, а она – Софья Андреевна. У стариков честолюбие, как у мальчиков! Я улынулся про себя и говорю: «Софья Андреевна, я вам подарок привез, Помните, в 1904 году к вам приезжал такой критик – Стасов Владимир Владимирович, с мохнатой бородой? Смотрите, что этот подлец написал своему брату, когда вернулся из Ясной Поляны: «Слуги нечесаные, грязь в доме, ватерклозеты запущены. Есть ли в этом доме хозяйка?»».

Она меня чуть не выгнала – тоже вошла в роль. Только когда я сказал: «Тамара Фёдоровна, улыбаемся вместе», вспомнила, что она не Софья Андреевна! Но я сразу решил, что не буду писать книгу. Решил, как только увидел в прихожей огромный стеклянный шар аквариума, в котором оказались засушены все лепестки роз, когда-либо подаренных Тамаре Фёдоровне с начала ее актерской карьеры. Мавзолеем славы, некрополем! Я понял, что она будет водить моим пером и диктовать каждое слово, и отказался от книжки.

Это уже было позже, а в 1972 году я закончил ВГИК, получил диплом с отличием. Вместе с дипломами нам школьные аттестаты возвращали, там у меня одни тройки, а диплом с отличием. «Ну, парень, – говорят ребята, – был же нормальный мужик. Что со своей жизнью сделал?».

Я не раз потом слово в слово буду слышать это от Виктора Петровича Астафьева. Он у себя в Овсянке огород завел, на который тащил из леса всё, что ему там нравилось, – марьины корни, стародубы, ветреницы – эта здоровая дикость лезла в огороды к соседям, грозила их урожаю. Соседки ругались. Приезжая к нему, я выпалывал все эти художества и приводил огород в порядок. А Виктор Петрович посмотрит вечером, непременно покачает головой и скажет Марье Семёновне: «Смотри, Маня, ничё у критика из рук не падат. Какой мужик мог бы выйти, какой крестьянин! Что со своей жизнью сделал?!». И махнет рукой.

ТОЖЕ МНЕ ПИСАТЕЛЬ – МИМО ЗА ПИВОМ ХОДИТ

– А как вы познакомились с Виктором Петровичем, с Валентином Григорьевичем Распутиным? Сначала читали их книги, писали о них?

– С Виктором Петровичем очень трогательная история. Они же с Марьей Семёновной после войны тоже в Чусовом жили, мы с ними теперь все трое почетные граждане этого города. Он работал в газете «Чусовской рабочий». Вдруг в школе – я тогда в седьмом классе учился – устроили встречу с писателем Астафьевым. Он тогда первую книжку выпустил в Молотовском издательстве.

Мы с приятелем не собирались идти на встречу. А то я писателем не видал! Он в «Чусовском рабочем» работает, мимо за пивом ходит – тоже мне писатель! Но училки руки расставили – не прорвешься. Пришлось остаться. Я не слушал, чего там бухтит этот кривой мужик, прохихикали с приятелем всю встречу.

Потом расту, возвращаюсь с флота, сам работаю в газете, поступаю во ВГИК, заканчиваю, и периодически слышу: писатель Виктор Петрович Астафьев. Но не читаю его, хоть тресни. Он уже лауреат Государственной премии, а я все равно не читаю. Кого читать-то? Чусовского мужика, который мимо за пивом ходил? Но в

«Нас разбудит колокольный звон»

1974 году он зовет на свое 50-летие псковского писателя Юрия Николаевича Куранова (замечательный писатель был, Царствие ему Небесное, тончайший стилист).

Юрий Николаевич говорит мне: «Старик, ладно, ты не хочешь читать писателя Астафьева, но хоть на Вологду посмотришь – интересный старый город!». Виктор Петрович тогда в Вологде жил. Ладно, думаю, поедом, на Вологду погляжу. Выходим из вагона, Виктор Петрович здоровается с Курановым, а единственным своим глазом смотрит на меня и спрашивает: «Не тебя ли это, брат, я видел году в сорок седьмом в Чусовом, собирающим окурки у железной дороги?».

Я стою перед ним такой, как сейчас, только не седой, а в классе был едва не самый маленький – на флоте вырос на целых 12 сантиметров. Как он мог узнать в мужике того пацана? Я онемел. Говорю Куранову: «Дайте мне немедленно почтитать что-нибудь этого человека». Он мне дал рассказ «Ясным ли днем». И сейчас один из лучших русских рассказов. Стыдно сказать – я захлебнулся слезами – кто читал, знает, отчего в финале нельзя удержать слез. Утром пришел к Виктору Петровичу, в ноги повалился: «Не погуби, кормилец! Со своей чувственной фанатерией мог такое имя пропустить». Он говорит: «Я еще лучше могу. Учти вас, дураков. Ты еще меня узнаешь». С той поры мы уже не разлучались, я каждый год приезжал к нему – сначала в Вологду, а потом в Овсянку, – писал предисловия ко всем его книгам и собраниям сочинений, кроме последнего.

С Валентином Григорьевичем было проще. Мне в Новосибирске заказали книжку о том же Викторе Петровиче, но потом вдруг передумали и заключили договор с другим автором, а меня спросили, не могу ли я написать о Валентине Распутине. Я уже тогда читал Валентина Григорьевича, любил его. Списались, договорились о встрече, и я приехал к нему в Иркутск. Это, кажется, в 1983 году было. С той поры тоже не разлучаемся.

Сейчас уже только созваниваемся иногда. Раньше переписывались, но писать письма ему трудно – у него почерк не просто мелкий, а микробный. В его рукописную страницу входит 12 машинописных. Я его письма и рукописи только в четырехкратную лупу могу разглядеть, а правку – в шестикратную.

Когда я первый раз был у него дома и увидел его рукопись (что это рукопись, он мне объяснил, я бы в жизни не догадался), спросил, как у него со зрением. «А что со зрением? На той стороне Ангары читаю „куплю“, „сдается“, „продам“. Специально нарочное посылали – тот ехал на трамвае четыре остановки и оттуда махал, что все так и написано». А сейчас Валентин Григорьевич в очках...

А пишет все равно так же мелко. И письмо для него трудно, потому что для нас ему надо каждую букву увеличивать – все равно, что нам плакат написать.

Для меня его мельчайший на редкость аккуратный почерк символичен, я вижу в этом прямую связь с его пристальным вниманием и бережностью к человеку.

САВВА ЯМЩИКОВ – УНИКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
– А с Саввой Васильевичем Ямщиковым вы, наверное, в Пскове познакомились? Ведь это, по-моему, был его любимый город.

– Да, Савва любил Псков, каждый год непременно приезжал сюда на месяц-другой. Познакомился я с ним году в 64 или в 65. Они с Андреем Тарковским приехали выбирать натуру для «Андрея Рублева». Тарковский жил в гостинице «Октябрьская». Я тогда только устроился в «Молодой ленинец», фанатерия была полно –

штучка сказать, журналист! Это сейчас ничего не значит, а тогда даже, помните, фильм был «Журналист». Кстати, фильм Сергея Аполлиновича Герасимова.

Так вот, я со своей фанатерией стучусь в номер – не открывают. Заглянул в замочную скважину, а там ключ торчит. Я как дам ногой. Вылетает Тарковский с непарламентскими выражениями: «Ты кто, так и растак!». Говорю: «Пресса мы». Он понял, что с таким дураком лучше не спорить, и я взял у него интервью.

А на следующий день встретился с Саввой, и с тех пор мы тоже не разлучались. И ездили в разные годы в Ярославль, Кострому, Кологрив, Новгород, куда он приезжал хозяином. А потом с перестройкой он долго болел. Не от нее ли и заболел – куда было деться от стыда за происходящее. Все семь лет его болезни, я, приезжая в Москву, непременно звонил ему. Он никого не принимал, но одновременно обижался, что его забыли. Бывает, звоню, а он говорит: «Не приходи, старик, я не открою, зачем смотреть на развалину?». Не любил он себя в этом небоевом виде. Я говорю: «Сейчас возьму камень и докину до твоего шестого этажа, все окна перебью, если не откроешь». А уж когда приходишь к нему, вцепится, потом не уйдешь – столько всего ему надо было сказать.

Все семь лет болезни у него с одной стороны лежала газета «Завтра», с другой – «Коммерсантъ», все каналы телевидения включены. Помню, навестили мы его с Валентином Григорьевичем, а когда вышли, Распутин говорит: «Почему ты говорил, что Савва болен? Это мы больные, а Савва, может быть, единственный здоровый человек в стране». Он ведь нам разложил политический пахляк – куда надо убрать одного министра, куда поставить другого, что можно сделать в экономике, в тяжелой промышленности, в сельском хозяйстве, в реставрации, в искусстве. Он за всем следил, всем интересовался, за всё болел душой.

Когда он ожил, телефон в его руках не умолкал – ему отовсюду звонили, он звонил во все города, справлялся, что там и как. Савва – уникальное явление, редчайшее!

Еще после съемок «Рублева» они подружались с архимандритом Алипием, вместе открывали фрески Псково-Печерского монастыря, сейчас загорелые, словно похороненные со смертью отца Алипия. У отца архимандрита была большая коллекция картин, которую он, уступая Саввой, в прощанье, завещал Русскому музею, а часть – нашему Псковскому музею.

ОТЕЦ АЛИПИЙ – ОТКРЫТЫЙ И ОСТРОУМНЫЙ
– Вы тоже знали отца Алипия?

– Не так близко, как Савва, но даже интервью у него брал. Как ни странно, для «Молодого ленинца» – пропустили его, потому что речь шла о живописи, а не о Церкви. Жалко, не сохранил газету. Отец Алипий был очень открытый человек и остроумный. Придешь к нему, непременно пытаешься снять фотографию, а он говорит: «Миленький, кто же так снимает? Дай мне камеру, покажу – я ведь художник!». Пойдет, нащелкает в монастыре. «А меня можешь не снимать, все равно ничего у тебя не выйдет». И действительно почти ни у кого ничего не выходило.

Михаил Иванович Семенов рассказывал (в Пскове было два легендарных архитектора – Михаил Иванович Семенов и Всеволод Петрович Смирнов, – реставрировавших Псково-Печерский монастырь; после работы отец Алипий угощал их коньячком, «переодетым» в чай с лимоном, в стаканах с подстаканниками), что порой отец Алипий наклонится к уху и скажет: «Насвистывай мне, пожалуйста –

«Песню Сольвейг». Забыл, а душа просит».

И даже монастырь от закрытия он иногда спасал с юмором. Монастырь в хрущевскую пору много раз пытались закрыть. Вот однажды – он любил вспоминать эту историю – приходит начальник отдела культуры Анна Ивановна Медведева, а привратник Аввакум – дивный маленький старичок – говорит: «Не пушту. Звони – вот у ворот телефон, – а мне наместник запретил пускать начальство».

Она звонит: «Иван Михайлович, я с государственным поручением, у меня документ есть». А он говорит: «Матушка, ты прочтала, что на воротах написано?». А там было написано то ли «чума», то ли «холера». «Занес какой-то дурачина, не знаю, кто. У нас же теперь монахи в отпуск ездят – такие монахи пошли. Мои дураки все равно в Царствии Небесном прописаны, а если с вами, не дай Бог, что случится, я ж перед Богом не оправдаюсь. Нет, нет, не пушту, и не стучите».

А сам на самолет и в Москву – отстаивать. Такой характер!

Помню, я, еще работая в «Молодом ленинце», привез в монастырь делегацию из ЦК комсомола, попросил благословения у отца Алипия показать им Святую гору. Он благословляет и сам с нами туда поднимается. Садимся в так называемую «антихристову беседу», где Пётр Великий любил выкурить трубочку, и кто-то из дерзких молодых людей говорит: «Иван Михайлович, ну мы же с вами взрослые люди, вы же понимаете, что никакого Бога нет».

«И не говорите, – отвечает отец Алипий. – Для Бога нужна душа, а раз вы душу упразднили, какой может быть у вас Бог? И не ищите». Мгновенно срезал он таких остроловов.

СЛУЖБА ОТЦА ЗИНОНА БЫЛА ПРЕДСТОЯНИЕМ
– Вы, я знаю, и с отцом Зиномом близко общались.

– Да. Для меня это величайшее явление, хотя я всю жизнь в Церкви, видел много батюшек и владык, даже собирался книгу написать «Батюшки мои!», где были бы одновременно и ужас, и восхищение, потому что батюшки все разные.

В архимандрите Зиноне больше всего поражаало даже не величие иконописца, но его служба. Хотя, приезжая в монастырь, я каждый день помогал ему на службе, иногда мы служили вдвоем – он совершал таинство Евхаристии, а я был и алтарником, и чтецом, и хором, – уже много раз слышал, как он служит и пещерном храме, и в Покровском, и в деревянной церкви Всех Святых на горе, но всякий раз казалось, что я впервые присутствую на Литургии. Слово в первый раз на твоих глазах совершается Тайная вечеря, и ты в ней участвуешь.

Понять это чудо нельзя. С тех пор, как он оставил своих учеников, а их в Пскове много, они разбрелись по разным храмам, но большинство собирается у отца Евгения Ковалева в храме Анастасии Узорешительницы. Собираются в тоске по литургической цельности.

Редко кто так служит. Владыка Иоанн (Разумов) так служил. Отец Павел Адельгейм служил мощно, целостно, напряженно, по возможности каждодневно. Еще митрополит Антоний (Блум) – его службу я только в записи слышал, но меня эта запись сразила. Словами очень трудно передать, но понимаешь, что митрополит не позволял себе механического стояния, а каждую секунду именно предстал пред Господом.

Вот и служба отца Зинона от начала до конца была предстоянием. Запретил его в служении, митрополит Евсей лишил его самого дорогого – предстояния перед Богом при служении Литургии. А икона только тогда высока и подлинна, когда она создается в

литургическом пространстве. Стоит из него выйти, икона отдает художеством, что мы видим по многим сегодняшним иконописцам «от художества». Фактически митрополит Евсей выдергивал у отца Зинона кисть из руки, не понимая, что этого нельзя делать.

– А отца Павла Адельгейма вы хорошо знали?

– Не скажу, что хорошо, но мы часто виделись, разговаривали обо всем на свете, время от времени я даже читал у него на всеобщих бдениях канон. Я ведь долгие годы был прихожанином храма святителя Николая в Любятово, где настоятелем и сейчас отец Владимир Попов – они долгое время дружили. Отец Владимир – тоже живой человек. Иногда начнет проповедь: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Козьма Прутков говорил...». Я только крикну, потом с улыбкой спрошу: «Кто у нас Козьма-то – святитель или преподобный?». Отец Владимир улыбнется, но не смутится, потому всегда и с таким началом выведет в высокую и спасительную сторону.

Так и отец Павел – на Дмитриевскую родительскую субботу непременно прочтет с амвона блокловское «Поле Куликово», да так прочтет, что оно покажется святым текстом. Обычно для молодого священства редко соглашаются в одном сердце митрополит Филарет и Пушкин, и они их на книжных полках непременно разведут. А у отца Павла, отца Владимира, отца Алипия, отца Зинона соглашались.



Для них слово было свято во всех контекстах – и в евангельском, и в святоотеческом, и в высокой поэзии. Тем самым они возвращали поэтическому слову его Божественную небесную красоту. Ту красоту, которая есть в поздних стихах Александра Сергеевича. Да, в юности он написал «Гавриладию», но закончил свой творческий путь «Отцами пустынноиками» – почти дословным переводом молитвы Ефрема Сирина. А «Странник!» Прочитайте и вы увидите, что это, может быть, самое христианское стихотворение в русской поэзии.

КОГДА ЧТЕНИЕ – МУЧЕНИЕ
– У вас никогда не было неприятностей из-за того, что ходите в храм?

– Я этого не афишировал, а когда в 1972 году ушел из газеты, и вовсе стало спокойно – кому какое дело.

Стал зарабатывать внутренними рецензиями, пока Леонид Ефимович Пинский не объяснил мне... Это был замечательный шекспировед, прошедший лагерь и не сломленный – уже в шестидесятые и семидесятые он приходил на все политические процессы. Не выступал там, а просто сидел и слушал – свидетель. Его все судьи ненавидели!

Я во ВГИКе защищал диплом по козинцевским экранизациям «Гамлета» и «Короля Лира», а как раз незадолго до этого вышла книжка Леонида Ефимовича о Шекспире, и она мне очень помогла, расставила все в душе на место. Мы списались, я поблагодарил за книгу, мы встретились, стали общаться.

Он устраивал у себя дома выставки Анатолия Зверева, в прихожей у него лежали журналы «Посев», книги и журналы издательства Имка-Пресс – всё, что добралось до России из «диссидентства». Когда приходили из КГБ, а его как бывшего лагерника регулярно проверяли, он говорил: «Ребята, всё, что вам нужно, лежит здесь, а туда не суйтесь, не бесчинствуйте». И они не бесчинствовали – понимали, что всё,

подлежащее изъятию, лежит в коридоре.

Так вот, Леонид Ефимович, узнав, что я ушел из газеты, спросил:

– Чем же теперь занимаешься?

– Внутренние рецензии пишу. «Советский писатель», «Современник» присылают мне рукописи, я читаю и пишу заключения.

– И сколько рукописей прочитал?

– Кажется, 87.
– А сколько благословил?
– Семь или восемь.
– Что же остальные?
– Забыл, как страшный сон.
– Не обольщайся. Ни одно дурное слово, прочитанное тобой, откуда из твоей генетики не денется. Оно исказит либо твою жизнь, либо жизнь твоих детей, внуков. Выйдет дурной кровью, где-нибудь обязательно проявится. Забудь! Лучше сдохнуть под забором.

И я пошел «подыхать под забором» – перестал писать такие рецензии. Сейчас опять готов всё бросить... Я входил в жюри «Национального бестселлера», премии имени Аполлона Григорьева, теперь вот в жюри «Ясной поляны» и все чаще вспоминаю при чтении часто разрушительных для души книг, что и правда лучше остаться без куска хлеба, но спасти остатки генетики.

– В современной литературе, которую вы как член жюри постоянно читаете, нет, на ваш взгляд, ничего равного книгам Астафьева и Распутина?

– Если говорить о стилистике, то многие сегодня пишут «лучше», чем Астафьев и Распутин. Виртуозы, «Набоковы». «Набоковых» много, Распутиных мало. Литература – зеркало жизни. Михаил Михайлович Бахтин чуть не в 22 года написал свою первую статью – «Искусство как ответственность». Он говорил об ответственности искусства перед человеком, а человека перед искусством.

Не нравятся вам современное искусство – посмотрите в зеркало: не вы ли дали повод искусству сделать столь невзрачным? А не нравятся что-то в вашем лице, когда смотрите утром в зеркало, – вспомните, какую книжку вчера прочитали: не она ли исказила ваш лик? Это я, конечно, своими словами пересказываю, у Бахтина гораздо глубже написано, но суть его работы именно в том, что жизнь и искусство тесно взаимосвязаны. Легчает мир – легчает искусство.

Сегодня невозможно написать «Живи и помни» просто потому, что не найдешь Настену. Японская славистка – фамилию не помню, – которая переводила «Живи и помни» на японский язык, вскоре после этого крестилась в православие с именем Анастасия – так потерял ее русский характер, душевное величие Настены. Не найдете вы сегодня такой характер. Вглядитесь в девичьи лица! Многие из них прелестны, но глубины, которая по-настоящему красит человека, не видно. Есть ощущение какой-то фарфоровой пустоты.

И в Церкви... Перед храмом Христа Спасителя висит громадный экран, Патриарх на экране говорит важные слова о спасении, но говорит в пустоту – мимо летят машины, люди бегут взад-вперед по своим делам, им некогда остановиться, вслушаться. Даже проповедь в телевизоре перестает быть глаголом от сердца к сердцу, а проповедь Патриарха, транслируемая на улицу, в поток машин и троллейбусов – это расточение слова, отнятие у него глубины. Перед амвоном человек может замереть, перед экраном на улице – нет.

МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ В ОБРЯДОВОЕ РАВНОДУШИЕ

– Раз заговорили про храм Христа Спасителя, нельзя еще вспомнить еще одного вашего близкого друга – художника Юрия Селиверстова, который еще до воссоздания храма предлагал свой проект – памятник уничтоженному храму.
(Окончание на стр. 8)

«Нас разбудит колокольный звон»

(Окончание. Начало на стр. 7)

— Очень жалко, что это так и осталось проектом. Уверен, что воплощение проекта Юрия Ивановича было бы для Русской Церкви во сто крат более значимо. Для тех, кто не слышал об этом проекте, напомню, что Юра предлагал золотую прорись храма Христа Спасителя в натуральную величину. Где-то в Америке у миллиардеров хранится кукуля из храма Христа Спасителя. У Юры была мечта вернуть ее в Россию, поставить в этой прориси, и пусть бы шли над прихожанами дожди, падал снег, а люди стояли и молились хотя бы на Рождество и на Пасху. Отец Иоанн (Крестьянкин) благословил этот проект — мы вместе с Юрой к нему ездили и показывали.

Если бы реализовали Юрин проект, мы бы поняли, что сделали с самими собой, с собственным сердцем, с собственным храмом. Когда стоишь под открытым небом, продуваемый всеми ветрами, хлещет дождь, сверкают молнии, и ты понимаешь, что сам отнял у себя право быть под Господним покровом!.. Это для многих стало бы глубоким потрясением, потрясением очищающим. А восстановив храм, мы сделали вид, что ничего не случилось. Как стоял храм Христа Спасителя, так и стоит.

Мы входим туда, не чувствуя ужаса совершившегося. Возвращаемся в обрядовое равнодушие,



которое в 1917 году уже погубило Россию. Сонм новомучеников — следствие равнодушия Церкви, которая сама себя расточила до состояния, когда попы сидят под Фроловским мостом, режутся в карты, выпивают и ждут, не попросят ли их требу за деньги совершить. Святые новомученики своей кровью заплатили за это внутреннее разложение Церкви.

Не просто так народ отделился от Церкви, не вдруг перестал быть богоносцем. «Что нынче невеселый, товарищ поп?» — пишет Блок в «Двенадцати». А Перов где взял сюжет для «Чаепития в Мытищах», «Крестного хода на Пасху»? Сам придумал, чтобы похулить Церковь? Да будь это

хула, его холсты изрезали бы ножами на первой же выставке. В том-то и беда, что это сюжеты из жизни, из реальной жизни дореволюционной России.

Сонм новомучеников должен нас образовать, но для этого надо хотя бы читать за каждой службой весь список — это, по моему, минут 25 занимает. Звучало бы каждое имя за каждой литургией, и мы бы вдруг одумались, вспомнили, к чему приводит равнодушные, внешняя церковность без внутреннего горения, и не стали входить второй раз в ту же воду — воду равнодушия и формализма.

— Вы не планируете писать мемуары?

— Несколько лет назад вышла моя книжка «Подорожник», может быть, вы слышали...

— Не только слышал, но и читал.

— Вот этот жанр мне ближе — дать слово самим людям, с которыми встречался, показать их в письмах, автографах. Это мне и легче, и дороже, чем писать воспоминания. Нет, воспоминания — не мое.

— И прозу никогда не писали?

— Даже не пытался, потому что знаю: критик, который переступает порог и уходит в прозу, чаще всего терпит поражение. Он знает, как надо писать, но при этом напишет очень посредственное художественное произведение.

— У Чудакова же получилось.

Он, правда, литературовед, но все равно.

— У Чудакова — да. Но его «Ложится мгла на старые ступени» не совсем художественное произведение — имена там изменены, но это скорее мемуары. Замечательные мемуары, и все равно это исключение, а не правило.

ЗАВОДЫ НЕ ВОССТАНОВИМ, А ДУХОВНОЕ УСТРОЕНИЕ ВЕРНУТЬ МОЖЕМ

— Вы, видимо, давно могли переехать в Москву, но не хотите, потому что любите свой город. У вас наверняка болит душа за русскую провинцию. Как ее возродить? Очевидно же, что нет будущего у страны, где все тянутся на заработки в мегаполис.

— Не только в мегаполис, но и за рубеж. Дети многих наших крикунов-патриотов живут за границей. 70 лет мы жили за железным занавесом и теперь уже никак не можем наесться чужими краями. Ничего плохого в поездках по миру нет, но плохо, что мы запустили родную землю, на которой теперь только плач, крик и запустение. В Пскове на месте заводов банки, развлекательные центры, гипермаркеты.

Но восстанавливаются храмы, строятся новые, и я надеюсь, что они начнут работать в правильном направлении, то есть духовно просвещать и укреплять людей. В журнале «Лампада» я писал о своей мечте. Воскресным утром выезжаю в битком набитом автобусе в храм, а по дороге сначала выходят прихожане Успенского

храма, потом Михаило-Архангельского, Никольского, последние — мы, прихожане храма Анастасии Узорешительницы, — и на конечную остановку — на вокзал — автобус приходит пустой. Стоит там, пока не кончится литургия, а потом по дороге собирает всех прихожан и возвращается переполненным.

Пока это только мечта, но уже немалое утешение, когда едешь на службу и слышишь — в Успенском звонят, — потом переехал мост — в Троицком, в Михаила Архангела. Звон наполняет город, постепенно его собирает, рано или поздно он нас разбудит, мы действительно встанем под колокольный звон, и тогда уже с нами ничего нельзя будет сделать. Другого пути спасения нет. Мы уже не восстановим заводы, но вернуть себе духовное устройство можем. А это куда более надежная защита, чем ракеты и прочее тяжелое вооружение.

Вручают в этом году государственные премии, лауреаты сплошь зенитчики и ракетчики, «Росатом» — название-то какое угрожающее, — а в конце выходит Валентин Григорьевич Распутин, и зал хлопает ему, как никому не хлопал. Интуитивно понимают люди, что не «Росатом» спасет Россию, а дух и свет. Вопрос только, захотим ли мы идти этим путем, предпочесть крест временному земному благополучию. На протяжении всей истории большинство предпочитало благополучие и сытость.

Беседовал
Леонид ВИНОГРАДОВ

11 октября, 2013

(Печатается в сокращении)



Валентин Курбатов

Как будто впервые

У Александра Кушнера есть чудесное стихотворение, начинающееся словами «Мне приснилось, что все мы сидим за столом...» Это — о поэтах, старых и новых. Вот по-детски старательно декламирует Пастернак. Из классиков позапрошлого века назван, помнится, Лермонтов. Стол накрыт в саду, по лицам скользят пятна света, на скатерть падает жук, над головами проносится «последняя ласточка».

В середине стихотворения автор сообщает, что у застолья есть и некий Председатель, которого очень хочется разглядеть, но... То чья-то тень, то чей-то висок за-

слоняют его. Кто же это? Может, сам Пушкин? Ответ оставлен читателю.

Думал о главном герое сна и я. Однажды взял и решил так: скорее всего, во главе стола присел Ангел-хранитель русской поэзии. Издавна и надолго.

Вот и Валентин Яковлевич казался мне ангелом-хранителем нашей культуры последних десятилетий. Когда ему исполнилось восемьдесят, в телерепортаже прозвучал торжественный оборот: «защитник вся Руси». И вспомнилось, как однажды более молодой сподвижник, поглядывая на убеленного Курбатова,

произносившего изысканное и доверительно-домашнее слово к очередному гуманитарному действию, добродушно употребил похожее лекало, поставив на место «защитника» — «тамаду».

Сегодня это дружеское подтрунивание прирастает особым смыслом: ведь «дирижер» пира — сам не вкушает. У него другое устройство. ...

Хорошо той культуре, у которой есть свой Курбатов.

Википедийная статья именуется его критиком, литературоведом, прозаиком. Есть и слова В. Я. о себе. Вот они: «...Как все критики, я не доверял слову,

рожденному одним чувством, одной интуицией, и потому не был поэтом».

А ведь все им написанное — все предисловия, эссе и письма — говорит об обратном.

Своих стихов он не печатал, курбатовская поэзия жила как бы «на полях», «по ходу». И грамоте его научила бабушкина Псалтирь. Молитвы и псалмы. ф.

Павел КРЮЧКОВ,
заместитель главного редактора журнала
«Новый мир»

Фото Дмитрия Шеварова

Совместный проект журналов
НОВЫЙ МИР и «Фома»
и «Новый мир»

Уходит день невнятной строкой,
Часы рассыпались, как буквы без значенья.
Господь отмерил щедрой рукой —
Я расточил мне данное именье.

Наверно там — в сиянье полноты,
Где издаются книги нашей жизни,
Оплачем эти бедные листы,
По-русски спохватившись лишь на тризне.

Что не успел — того не дописать:
Лист опечатан и отправлен выше.
Пока не поздно, в праздную тетрадь
Хоть этот сор в смятении запишем.

31 июля 1994 года

А дым восходит прямо к небесам,
Когда листок свергается на землю.
Дивлюсь Твоим, о Боже, чудесам
И путь свой со смирением приемлю.
Душа летит за легким дымом вслед,
А плоть к земле старается поближе.
Так и живу — раздвоен и нелеп:
И выше сам себя и ниже...

26 июня 2002 года

Свету нет. Что хочешь делай!
Ночи нет конца...
Кто-то поступью несмелой
Ходит у крыльца.
То ли ночь, а то ли совесть
Под слепым окном.
И душа, обеспокоясь,
Молится тайком.

5 июля 2002 года

Поднимаю глаза в одинокой ночи —
Чуть заметно окно проступает...
Рано, Господи, в мире еще ни души,
И опять засыпаю...

Поднимаю глаза через час или два —
Чуть заметно окно проступает...
Ночь недвижна — жива ли? Мертва?
Сердце жалит иголка тупая.

Через час, через день, через несколько лет —
Чуть заметно окно проступает.
Это вечность стоит. В мире времени нет...
Боже мой! Наконец-то! Светает!

29 августа 2005 года

Ветер вдруг изнемог,
Словно за день устал,
Ну и я, видит Бог,
Что-то духом упал.
Вечер нежен и тих,
Как Никитина стих
(Помнишь: «чуткий камыш»
С нежною рифмой «тишь»)
А душа-то слепа...
Что ей вечера мир?
В ней своя суета,
Свой уездный трактир...
Всё куда-то бежит,
Всё кого-то зовет.
Как давно мне претит

22 мая 2004 года

Накрутишься за день и взглянешь в окно,
А там догорает сиятельный вечер...
Механик-Господь крутит то же кино —
Сюжет его прост, ненагляден и вечен.

А ты, милый мой, всё куда-то бежишь,
Всё новости ищешь, летишь без оглядки.
А только и тайны, что стой, где стоишь,
И всё будет ясно, всё будет в порядке.

Смотри: это яблоня! Это скворец!
А ты их увидел, как будто впервые.
Тебе, для тебя и с тобою Творец
Всё живо вокруг, да вот мы неживые.

9 июня 2007 года

Вновь Звезда встает над домом.

Значит, нам пора
В Вифлеем путем знакомым
В круг, где у костра
Посреди пещеры голой
Сладко спит Дитя,
Чьи великие глаголы
Завтра возвестят
Миру радость, избавленья
От сетей греха.
И по смерти воскресенье.
Завтра... А пока
Спит Дитя, еще не зная
Своего пути.
Пусть продлится Ночь Святая.
Нам еще идти...

2011 год



Рисунок Анны Тененбаум